

СОЛЬ И СВЕТ

роман



Валентина Полякова

18+

Валентина Полякова

Соль и свет

«Автор»

2026

Полякова В.

Соль и свет / В. Полякова — «Автор», 2026

Когда Свете было шесть лет, мама ушла, пообещав прислать открытку с тёплого моря. Открытка так и не пришла. Впереди были годы одиночества, мачеха, жестокость сводного брата, бедность и жизнь, в которой она слишком рано научилась молчать, терпеть и не ждать любви. Но однажды детское обещание — «тёплое море» — становится не воспоминанием, а путеводной нитью. Пройдя через потери, тяжёлый брак, предательство и разочарования, Света решает изменить свою судьбу. Путь приводит её в Южную Корею, где среди шумных улиц Сеула, морского ветра Пусана и людей с собственными ранами она впервые начинает верить, что счастье возможно. «Соль и свет» — глубокий, эмоциональный роман о боли, которая не исчезает, но перестаёт управлять жизнью. О любви, способной исцелять. О выборе остаться добрым, даже если мир не был добр к тебе. И о том, что самые долгие дороги иногда начинаются с обещания, данного маленькой девочке много лет назад.

© Полякова В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Глава 1. Уход	6
Глава 2. Мачеха	12
Глава 3. Семнадцать	19
Глава 4. Игорь	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Валентина Полякова

Соль и свет

Глава

СОЛЬ И СВЕТ

роман

Валентина Полякова

«Тёплое море, тёплый ты»
надпись на обороте старой фотографии

Содержание

- Глава 1. Уход 4
- Глава 2. Мачеха 14
- Глава 3. Семнадцать 25
- Глава 4. Игорь 37
- Глава 5. Свадьба и сын 47
- Глава 6. Трещина 57
- Глава 7. Двое 66
- Глава 8. Решение 74
- Глава 9. Сеул 82
- Глава 10. Минджун 93
- Глава 11. Пусан 104
- Глава 12. Его мир 114
- Глава 13. Осень 123
- Глава 14. Зима 132
- Глава 15. Свет 140
- Глава 16. Между 148
- Глава 17. Весна 155
- Глава 18. Кафе 161
- Глава 19. Пусан — лето 167
- Глава 20. Море держит 173
- Глава 21. Соль и свет 179

Глава 1. Уход

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»

— Лев Толстой

* * *

Запах она запомнила первым. Потом — свет. Потом — звук замков. Потом — всё остальное, но уже в другом порядке, не в том, в каком оно случилось.

Сладкие, нарядные, незнакомые духи — волна шла из коридора ещё до того, как Света обернулась. Мама пахла молоком, кремом «Бархатные ручки» и тёплым луком от готовки: это был запах кухни, запах утра, запах всего привычного и правильного, запах самой мамы, неотъемлемый, как её голос или её руки. То, что летело сейчас из коридора, было совсем другим — цветочным, чужим, нарядным, праздничным, — и под этой нарядностью ещё один запах: горьковатый, мужской, незнакомый табак. Не папин «Беломор» — папин был резкий и домашний, она его не любила, но знала наизусть. Этот другой. Тонкий, горьковатый, чужой. Через тридцать лет этот запах будет достигать её в лифтах, в метро, от случайного прохожего на улице — и тело будет останавливаться раньше, чем голова успеет спросить почему.

Но сейчас ей было шесть. Она сидела на кухонном полу в косой жёлтой полосе — солнце в начале сентября падает низко, прямо на пол, длинными лентами, — и ловила пылинки пальцем. Это было её любимое занятие — самое лучшее, что она знала: целиться в самую яркую крупинку, медленно, медленно подводить палец, затаивать дыхание, чтобы не спугнуть, — и в последний миг крупинка ускользала. Уплывала вбок, кружилась, дразнила. Это был закон её маленькой жизни, твёрдый и ненарушимый: пылинки никогда не ловятся. Это она знала так же верно, как то, что папа приходит в семь, что молоко надо нагревать перед сном, что мультфильм начинается когда солнце уходит за дом напротив. Мир был устроен правильно и предсказуемо — каждая вещь была на своём месте, каждый звук был знакомым, каждый запах своим.

Кухня пахла горохом — мама с утра поставила суп, он дошивал на маленьком огне, уже почти готовый, от него шёл густой сытный пар, и тарелки ждали на полке. Холодильник гудел ровно, чуть похрипывая на выдохе, — этот звук был одним из самых привычных звуков её жизни, как сердцебиение дома. Трубы в батарее иногда покашливали — осень, скоро включат отопление. В прихожей капал кран: кап, кап, кап — мама собиралась починить, всё откладывала. Квартира жила своей маленькой жизнью, вздыхала, покашливала, гудела, и в этой жизни был покой.

— Мам, — крикнула Света, не отрываясь от пылинок, — у бабушки Барсик ждёт? Мы ему докторской возьмём? Он синюю не любит — морду воротит. Помнишь, в прошлый раз ты принесла синюю — он понюхал и отвернулся. Смешной.

Тишина.

Не та тишина, когда взрослые заняты. Другая — плотная, как стена, как что-то, что нельзя пройти насквозь.

Щёлк. Щёлк. Два медных замочка чемодана — тугих, важных. Света их хорошо знала: они были у большого чемодана, который жил на антресолях вместе с ёлочными игрушками и выходил оттуда только на Новый год. Она любила нажимать на них большим пальцем: упругое сопротивление, короткий толчок — и замок выстреливал вверх с тугим щелчком, таким сочным и определённым, что это само по себе было удовольствие. Сейчас их закрывали. Снаружи.

— Мам! — повторила Света. Чуть удивлённо: почему молчит?

Обернулась — и что-то в ней, в шестилетней Светлане, сидящей на полу с золотым пальцем, потянувшимся за пылинкой, — что-то дрогнуло раньше всякого понимания. Не разум — тело. Та часть тела, которая знает всё раньше разума.

* * *

Мать стояла в дверях кухни. В бежевом плаще с поясом — в том самом, нарядном, который надевался только для настоящих уходов: в театр, в гости, надолго. С чемоданом. На улице стоял тёплый сентябрь, листья ещё зелёные, первые жёлтые только тронули тополя. Зачем — плащ?

Что-то произошло у Светы в груди — что-то маленькое, тихое, как щелчок маленького замка. Не страх ещё. То, что бывает за долю секунды до страха, когда тело уже знает, а голова ещё переводит.

И лицо.

Вот это Света запомнит навсегда — не лицо само по себе, а то, чего в нём не было. Мать убрала из лица себя. Остались черты — те же брови, та же ямочка на щеке — но всё, что делало маму мамой: рассеянный взгляд когда думает о своём, привычку трогать себя за ухо когда слушает, то как морщинки собираются у глаз когда смеётся, — всего этого не было. Осталась оболочка — красивая, аккуратная, незнакомая. Блестящие глаза. Губы накрашены — мама красила губы только по праздникам или когда куда-то важное. Духи — те самые, нарядные, чужие.

Мать присела перед ней на корточки — медленно, осторожно, чтобы не помять плащ. Они оказались лицом к лицу, в жёлтом луче. Горох тихонько булькнул на плите. Холодильник гудел. Кран капал.

— Светик, — сказала мать. — Мама уезжает.

Голос был тихий, очень ровный, очень осторожный — такой бывает у человека, который несёт полный стакан и боится расплескать.

Света засмеялась. Конечно — сейчас будет «бу». Мама иногда так делала: говорила страшным голосом, делала страшное лицо, а потом «бу» — и хватала Свету, тормошила, щеко-тала, они валились на диван и хохотали до слёз. Это была их игра.

— А я? — сказала Света, уже предвкушая «бу».

— Ты остаёшься с папой.

«Бу» не было.

— Мам, — начала Света, и что-то мягкое сломалось у неё внутри, — мам, а когда ты приедешь? Скоро? Через неделю? Или через...

Мать рванулась к ней. Рывком — как рвутся, когда боятся опоздать, когда уходящий поезд. Прижала так, что хрустнуло что-то в шее, щека впечаталась в шуршащий плащ, в волну тех духов — чужих, цветочных, — а под ними, если вдохнуть глубоко, горьковатый незнакомый табак. И мать держала её крепко, неожиданно крепко, — и беззвучно тряслась, грудью, плечами, подбородком, — изо всех сил не позволяя себе ни одного звука. Это было страшнее любого крика. Взрослые не должны вот так трястись. Взрослые не трясутся, когда едут к бабушке или в театр или даже в командировку далеко.

Маленькие руки Светы вцепились в плащ — в шуршащий бежевый плащ — и не хотели отпускать. Держались, как держатся за что-то, когда чувствуют, что сейчас пропадёт.

Мать отпустила сама. Резко. Встала. Быстро провела ладонями по щекам — раз-два, стирая что-то. Взяла чемодан за ручку. Пошла к двери.

Остановилась в дверях прихожей. Не обернулась. Голос — в сторону, в стену:

— Я пришлю открытку. Там тёплое море. Ты увидишь.

Дверь закрылась.

Не хлопнула. Это важно — не хлопнула. Если бы хлопнула — была бы злость, был бы возврат, была бы надежда. Хлопнутая дверь оставляет зацепку. Но мамина дверь закрылась мягко, вежливо, деликатно — щелчок замка, тихий, один, — таким закрывают дверь в комнату, где спит больной. Так закрывается то, что больше не откроется.

Горох булькал. Холодильник гудел. Трубы покашливали. Кран капал.

Мир не знал. Мир продолжался.

* * *

Света стояла посреди кухни.

Она не понимала ещё. Что-то случилось — это да, что-то изменилось, от чего стало странно и тихо и немного холодно внутри, — но что именно, разум ещё не сложил в понятное. Мама уехала. Мама иногда уезжала — к бабушке, на работу, иногда вечером куда-то нарядная. Мама всегда возвращалась. Наверное, и сейчас вернётся. Скоро. Может, через час. Может, к ужину.

Она пошла к окну. Подтащила табуретку — деревянную, с облезшей краской, — встала на неё, поднялась на цыпочки, прижала лоб к стеклу. Стекло было тёплым — нагрелось за день.

Двор она знала наизусть: тополя, качели у второго подъезда, стол для домино под навесом, турник. Соседские «Жигули» — всегда стоят криво, дядя Гена никогда нормально не паркует. Мальчишки гоняли мяч — Вовка, Сашка, ещё кто-то, не разглядеть сверху, — и их голоса летели снизу, перекрикиваясь, весёлые. Обычный двор. Обычный сентябрьский вечер.

Мать вышла из подъезда быстро. Прямая спина, быстрый лёгкий шаг, светлый плащ. Сверху, с пятого этажа, она была маленькой — только плечи и макушка. Не подняла головы. Света смотрела изо всех сил — вся подавшись вперёд, нос прижат к стеклу до белизны, дыхание задержано. Ну посмотри. Пожалуйста. Ну посмотри же на окно. Ты же знаешь, что я здесь. Посмотри, помашаи — и тогда всё будет понятно, тогда это игра, тогда можно не бояться.

Не посмотрела.

Чёрная машина у тротуара. Большая, блестящая, незнакомая — таких во дворе не водилось, у них во дворе стояли только «Жигули» и иногда соседская «Волга». Дверца открылась изнутри сама — будто там знали, что она идёт. Мать нырнула внутрь. За рулём — тёмный силуэт, незнакомый, Света не видела лица, только тёмное пальто и что-то на вид чужое. Дверца захлопнулась.

Машина постояла секунду.

В эту секунду — Света это запомнит до конца жизни — всё ещё могло повернуться. Всё ещё могло оказаться игрой. Машина могла открыть дверцу обратно, мать могла выйти, сказала бы «ну что ты, Светик, пошутила, я никуда не еду», и они бы пошли есть горох, и всё было бы правильно. Эта секунда тянулась — нет, не тянулась, секунды не умеют тянуться, она просто была — и в ней было всё ещё возможное.

Потом машина тронулась.

Медленно поехала вдоль тополей. Тополя осыпали её первыми жёлтыми листьями — ещё редкими. На повороте у трансформаторной будки машина мигнула красным огоньком — поворотник, — повернула. Пропала за углом дома.

Там, где она была, остался пустой кусок асфальта.

Двор жил дальше. Мальчишки гоняли мяч: «Пас давай!», «Мазила!», «Гол!». Бабка из первого подъезда вышла с ковром на турник — выбивала неторопливо, глухими ударами, размеренно. Из третьего окна второго этажа пахло жареной картошкой. Всё это продолжалось — не остановилось, не спросило, не заметило.

Света ждала.

Она была совершенно, абсолютно уверена: машина выедет из-за угла обратно. Мама вспомнит. Мама спохватится. Мама не может вот так — уехать, не объяснив, не сказав когда вернётся. Мама всегда говорила когда вернётся: «через час», «к ужину», «не поздно». Это правило. Это так делается.

Она думала — что мама делает сейчас. Вот эта секунда, прямо сейчас. Машина едет куда-то. Мама сидит внутри. Думает ли о Свете? О том, что Света стоит вот здесь, у окна на пятом этаже, и смотрит на угол дома? Или уже не думает? Уже — там, в своём тёплом море, в другой жизни, в которой нет ни этой кухни, ни гороха, ни папиных криво заплетённых кос, ни Светы?

Эта мысль — что мама может не думать прямо сейчас, в эту секунду — была хуже всего. Хуже, чем уход. Потому что мама ушла — это одно, это можно переждать. Но если мама ушла и не думает — значит, Светы как будто нет. Значит, она не существует в маминых мыслях. Значит, она и правда — лишняя.

Жёлтая полоса на кухонном полу за её спиной медленно ползла и краснела — солнце уходило. Тени во дворе вытянулись. Мальчишек позвали обедать — по одному, голосами из разных окон, каждый своим: «Во-о-ова!», «Саша, домой сейчас же!», «Ми-и-ишка, иди уже!». Они уходили по одному, мяч бросили у турника. Двор пустел.

Зажглись первые окна — раньше всего в третьем подъезде, где жила старушка Нина Фёдоровна и всегда рано ложилась спать, а рано вставала. Жёлтые тёплые квадраты в чужих окнах. В одном кто-то ходил туда-сюда — туда-сюда, туда-сюда. В другом мелькал синий свет телевизора. Чужие жизни за стёклами.

Живот свело от голода — она не обедала, мама не налила суп. Горох на плите давно остыл. Она не слезла за ним. Нельзя было уйти от окна — вдруг именно в эту секунду машина выедет из-за угла, а Светы не будет у окна, и мама не увидит, что она ждёт.

Дышала на стекло. От её дыхания расплывалось мутное пятно — такое тёплое, нежное пятнышко, временное. Рисовала в нём пальцем — что-то, сама не знала что. Линию. Цветок. Просто так. Пятно таяло. Рисовала снова. Потом перестала.

Просто стояла и смотрела на угол дома, за который уехала чёрная машина.

В прихожей у двери стояли мамины тапочки — клетчатые, со стоптанными задниками. Мама уехала в туфлях, в парадном, а тапочки оставила. Что-то в этих тапочках было невыносимым: они остались. Они ждут. Они не знают. Стоят и ждут маму, которая не придёт сегодня вечером снять туфли и надеть их — мягкие, привычные, домашние.

Где-то капал кран — кап. Кап. Кап. Холодильник делал иногда: у-ум — и умолкал. На плите горел синий огонёк под совсем остывшим горохом.

Двор был тёмным. Машина не возвращалась.

Когда именно Света поняла — этого она не могла бы сказать. Понимание не пришло мыслью. Оно пришло телом — так же, как тело понимает что замёрзло, что хочет есть, что засыпает. Что-то тихо осело у неё внутри — холодным тяжёлым камнем, ниже желудка — и стало там жить. Без боли, без треска. Просто — заняло место. Стало частью неё. Навсегда.

Она не плакала.

Горе было больше слёз — это как если бы выпало море, а у тебя была только маленькая лужа. Море не помещается в маленькую лужу. Оно просто уходит в землю. Вот так и это горе: ушло вглубь, в землю, в самый низ, — и осталось там жить.

* * *

Отца она не услышала — заслушалась темнотой.

Просто вдруг зажёгся свет в коридоре и раздался его голос — знакомый, низкий, чуть хриплый после смены:

— Светик? Ты чего в темноте?

Только тут поняла: в квартире ночь. Она стоит у чёрного окна, в котором — маленькая фигурка на табуретке. Она уже несколько часов. Она не заметила.

Отец стоял в дверях кухни в рабочем — в промасленной куртке, тяжёлый запах завода: железо, машинное масло, горьковатый «Беломор». Родной запах. Правильный. Большой. Усталый. В правой руке авоська — там брякали банки и что-то ещё.

Включил кухонный свет. Резкий жёлтый удар по глазам — Света зажмурилась. Огляделся.

Нетронутый суп на плите — совсем холодный, пенка сверху. Тарелки чистые на полке, не тронутые. Открытый шкаф в коридоре — дверца нараспашку, будто впопыхах. Вешалка наполовину пустая. Бежевый плащ с поясом там больше не висел.

Авоська опустилась на пол. Отец её не ставил — просто выпустил из руки. Банка консервов выкатилась, покатила по линолеуму — дзинь-дзинь-дзинь — остановилась у ножки обеденного стола. Отец смотрел не на неё.

Смотрел на вешалку.

Стоял и смотрел на пустое место, где висел бежевый плащ. Долго — наверное, одну минуту, наверное, пять, Света не умела считать такое время. Стоял, и лицо у него менялось медленно, страшно — как бывает с небом перед грозой: сначала ничего особенного, потом чуть темнее, потом ещё темнее, и вдруг понимаешь что уже всё, уже гроза, уже поздно.

Цвет ушёл из его лица. Большой, сильный, надёжный её папа — он всегда казался Свете очень большим и очень надёжным, как дом — вдруг стал меньше. Как будто что-то выпустили из него, и он осел, ссутулился. Руки упали — просто упали, повисли вдоль тела, — так падают руки у человека, которому только что сообщили что-то, после чего непонятно, что делать с руками.

Он не спросил «где мама». Он всё понял без слов — по плащу, по тарелкам, по выражению, которое, наверное, было у Светы на лице.

Долгая пауза. Холодильник гудел. Кран капал. Запах остывшего горохового супа стоял в кухне — тёплый, домашний, обычный запах вечерней еды, ждущей кого-то, кто не придёт. Невыносимый запах.

Потом отец сделал несколько шагов к ней. Снял её с табуретки — осторожно, двумя руками, аккуратно, как снимают что-то хрупкое. Прижал к себе, к жёсткой промасленной куртке. Запах железа, масла, табака — родной, свой, не чужой.

Света уткнулась лицом в куртку.

— Пап, — сказала она тихо, в ткань, — она сказала: пришлю открытку. Там тёплое море. Она пришлёт ведь, да? Вот оттуда, с тёплого моря?

Отец ничего не ответил. Только крепче прижал её к себе — немного неловко, большими руками, которые умели держать железо и авоськи, но не очень умели держать ребёнка. Они оба это знали и не говорили об этом.

Горохом пахло с плиты. Банка лежала на боку у ножки стола. Авоська посреди кухни. Мамины тапочки у двери. В окне чернело то место во дворе, где ещё час назад стояла чёрная машина.

Наконец отец сказал — хрипло, тихо, ей в макушку:

— Голодная, наверное. Давай разогрею.

Это были первые слова. Не объяснение, не утешение, не «всё будет хорошо». Просто — жизнь продолжается, суп разогревается, вечер приходит, надо есть. Он рядом. Никуда не уехал.

Он разогрел суп. Налил в две тарелки — в большую себе, в маленькую Свете. Они сели за кухонный стол и ели вдвоём, в жёлтом свете лампочки, в тишине, над горохом. Горох был уже немного разваренный, чуть распался — мама бы переставила раньше, — но в нём было масло и соль и всё было правильно. Отец ел медленно, не поднимая головы. Иногда тяжело и как-то беспомощно выдыхал — так выдыхают, когда поставили что-то очень тяжёлое и не знают, куда теперь.

Открытки с моря не пришло.

Первый год Света бегала к почтовому ящику каждый день — приходила из школы и сразу к ящику, просовывала руку по самое плечо в пыльную железную темноту, шарила. Иногда там были газеты, один раз — открытка, и у неё так сильно зашло сердце, что она прочитать не могла сразу, — но это оказалась открытка от тёти Вали из Саратова, с розой на обложке и «Поздравляем с праздником!». Потом Света перестала бегать к ящику. Тихо, постепенно, как отвыкают от боли: сначала каждый день, потом через день, потом иногда, потом перестала. «Тёплое море» осталось внутри — светящаяся точка на самом дне. Обещание без адреса.

Той ночью отец долго сидел на кухне один. Она слышала сквозь сон — просто сидел, не включал телевизор, не разговаривал ни с кем. Иногда скрипел стул. Иногда чиркала спичка — раскуривал папиросу. Запах «Беломора» просачивался под дверь её комнаты и был там всю ночь.

Она лежала в темноте и прислушивалась к одинокому скрипу стула на кухне и к запаху папиросного дыма и думала: он здесь. Он не уехал. Он за дверью. Это что-то значит.

Это было всё, что у неё было.

Этого должно было хватить.

Должно было — но не хватало.

* * *

Так они и стали жить.

Двое на плоту. Молчаливый сломанный мужчина и тихая девочка, которая рано научилась не просить лишнего. Он жарил картошку — всегда немного подгоревшую с одного бока, с другого чуть сырую. Ели её прямо со сковородки, двумя вилками, сидя рядом на кухне, — и Свете это казалось приключением, лучшей едой. Он заплетал ей косы — криво, туго, так что щипало кожу, одна всегда выходила толще другой. Над ней смеялись в школе: что за косы такие. Она терпела — потому что видела, как папа пыхтит над её затылком высунув язык от усердия, как его большие заводские пальцы, привыкшие к железу, неловко путаются в тонких детских волосах, и это было так трогательно, что в горле щипало сильнее, чем от тугих кос. На день рождения он купил ей игрушечный самосвал — растерялся в магазине, не знал, что дарят девочкам, схватил первое что попало. Света играла этим самосвалом с такой самоотдачей, как будто это была самая прекрасная кукла на свете, — чтобы папа не расстраивался.

Они молчали по-разному. Его молчание было тяжёлым — заводским, усталым, набитым чем-то, что он не умел и не хотел выговорить. Её молчание было другим: она молчала, чтобы не помешать. Потому что если ей ничего не нужно, ему чуть легче. Это была её забота о нём — единственная, которую она умела в шесть лет, в семь, в восемь.

Плохо им было вдвоём. Голодно. Неприбрано. Отец не умел почти ничего домашнего, кроме картошки, и квартира постепенно зарастала той особой холостяцкой запущенностью, которая не грязь, а пустота — когда полы помыты, но как-то не так, и занавески висят, но как-то не там, и всё на местах, но что-то главное ушло.

И хорошо.

Потому что это были их — только их — годы. Плохие и хорошие и настоящие. Единственные.

* * *

Глава 2. Мачеха

«Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества»

— Фёдор Достоевский

* * *

Три года они жили вдвоём. Три года, о которых Света будет вспоминать потом со странной, виноватой нежностью — потому что плохо им было, голодно, неприбрано, отец не умел почти ничего домашнего, — но это были их годы. Только их. Без чужих.

Он жарил картошку — всегда немного подгоревшую с одного бока, с другого чуть сырую. Ели её прямо со сковородки, вдвоём, двумя вилками — и Свете это казалось приключением, лучшим ужином в мире. Он заплетал ей косы — криво, туго, так что щипало, одна всегда выходила толще другой. Над ней смеялись в школе. Она терпела: видела, как папа пытит высунув язык, как его большие, привыкшие к железу пальцы путаются в тонких волосах, — и это было невыносимо трогательно. На день рождения он купил ей игрушечный самосвал — растерялся в магазине, не знал, что дарят девочкам. Она играла самосвалом как самой прекрасной куклой на свете, чтобы папа не расстраивался.

Открытка с тёплого моря так и не пришла. Первый год Света ждала её — каждый день после школы бежала к ящику, просовывала руку в пыльную темноту. Однажды нашла открытку — зашло сердце — но это была тётя Валя из Саратова. Потом перестала бегать. Тихо, как отвыкают от боли.

Так и жили — плохо и хорошо одновременно. Молчаливый сломанный мужчина и тихая девочка, которая рано научилась не просить лишнего. Два осколка. Держались друг за друга.

А потом отец привёл Нину.

* * *

Нина вошла в пятницу вечером — Света запомнила, потому что в пятницу давали «Спокойной ночи, малыши», а в тот вечер она не смотрела. Вошла без предупреждения, без долгого введения: просто отец сказал «Светик, иди, познакомься» — и тон у него был тот особый, виноватый и деловитый одновременно, которым взрослые говорят когда что-то важное и не хотят, чтобы спорили.

Нина оглядела их холостяцкую берлогу — горы невымытой посуды, заросший жиром холодильник, серые подоконники в пятнах, занавески не стиранные с зимы. Оглядела без осуждения и без жалости: просто деловито, прикидывая объём работы. Этот взгляд — оценивающий, хозяйственный, невозмутимый — Света запомнила как первое впечатление от неё. Не злой. Не добрый. Деловой.

Через неделю квартиру было не узнать. Посуда вымыта. Подоконники отмыты. Занавески постираны и выглажены — оказывается, они были почти белыми, а не серыми, просто забытыми. В доме запахло хлоркой, пирогами и чем-то ещё — женским присутствием, порядком, жизнью. Отец повеселел, выпрямился, начал бриться каждое утро. Нина была хорошей хозяйкой — это Света признала честно, про себя.

В первый же вечер Нина посмотрела на неё. Оглядела всю, с ног до головы, медленно, оценивающе. Так осматривают мебель, оставшуюся в придачу к квартире: не плохая, не хорошая, просто есть, и надо с ней что-то делать.

— Ну, здравствуй. Большая уже. Девять? Хорошо. С большой возни меньше.

В двух словах — «возни меньше» — было всё. Нина не собиралась её любить. Собиралась ухаживать — потому что взялась, потому что порядочная. Кормить, одевать, следить, чтобы в школу ходила и уроки делала. Галочка. Но любить — нет. Любовь в её план не входила.

А в прихожей за её спиной стояли двое.

— Это мои, — и голос у Нины стал другим — тёплым, мягким, гордым, тем самым голосом, которого для Светы у неё не найдётся ни разу за все годы. — Серёжа и Костик. Знакомьтесь — будете как родные.

Как родные.

Серёже было тринадцать. Рослый, плечистый, с тяжёлым подбородком и узкими глазами, которые смотрели на Свету так, как смотрят на новую вещь: неторопливо, оценивая, прикидывая — что с ней можно сделать, что ей будет, если. Сколько она стерпит.

Костику было семь. Конопатый, круглолицый, избалованный — он сразу спрятался за материн подол и смотрел на Свету исподлобья, набывшись, как смотрят на того, кто занял часть твоего, и уже за одно это виноват.

— Здравствуйте, — тихо сказала Света.

Серёжа усмехнулся — одними углами рта. И сказал — негромко, чтобы мать, уже ушедшая на кухню, не услышала:

— Подкидывай. Тебя мамка бросила, да? Совсем не нужна была.

Это были первые слова, которые сводный брат сказал ей. И в них он с первого удара, безошибочно, с той особой жестокой меткостью, какая даётся только детям, нашёл самую больную, самую кровоточащую точку и нажал. Будто видел сквозь кожу. Будто сканировал её и нашёл — вот здесь слабое место, вот сюда бить.

Света промолчала. Она уже умела молчать.

Но щёки вспыхнули — и Серёжа это увидел. И запомнил. И понял: попал.

* * *

Нина не была злой. В этом и была вся беда. Со злой всё было бы понятнее. Злую можно ненавидеть, с ней можно воевать честно, в полную силу, и в этой вражде было бы хотя бы тепло. Но Нина была деловитой. Равнодушной. Своих она любила той густой животной любовью, за которой стены горят, — Света видела это и не могла насмотреться, как голодный на чужой пир. Чужую она обслуживала — потому что взялась.

За первую неделю Света поняла: она здесь мебель. Не плохая и не хорошая — просто мебель. Столы накрыты, посуда вымыта, дети сыты — вот цель. А что стоит в углу, не пишит ли, не страдает ли — это не в счёт.

Кормить Нина кормила — это правда. Борщ, котлеты, каши. За стол усаживала. Но накладывала последней — не со злости, просто рука сама тянулась к своим погуще, к чужой — что осталось. И Света быстро выучилась: держать тарелку так, чтобы не видно было, что мало. Есть медленно. Не показывать голод. Голод — это просьба, а просить Нину было хуже, чем терпеть.

Серёжа, убедившись что Света не жалуется и не бежит к матери, взялся за неё всерьёз. Начал с малого — прощупывал: далеко ли можно зайти, скоро ли сломается. Отбирал в школьной столовой её обед — не потому что голоден, а потому что мог. Смотрел ей в глаза и медленно, со вкусом ел её котлету. Ставил подножки в коридоре. Прятал портфель — она опаздывала, получала от учительницы, не умея объяснить почему. Дёргал за косы — резко, до слёз, выворачивая голову назад, — и шипел:

— Что, безматерняя, плакать будешь? Поплачь, заплачь. Мамка не услышит — далеко уехала.

Он находил слова. Это было страшнее тычков. Синяки заживают, а слова — нет, они оседают, они становятся частью тебя, они лежат в тебе тихо, год за годом, и ты несёшь их в себе как осколки.

Костик был трусливее, но злее по-другому — слезами. Стоило Свете чуть ответить, оттолкнуть его, — он мгновенно заходился рёвом: «Ма-а-ам! Светка меня уда-а-арила!» И приходила Нина. Без суда. Костик «свой» — значит прав. Света «чужая» — значит виновата. Арифметика простая.

— Не ври ещё, — оборвала Нина однажды Свету, даже не дослушав. — Мало того что дерёшься — ещё и врёшь. Иди в свою комнату. Без ужина сегодня.

За то, чего не делала. Серёжа стоял в дверях и смотрел на это с тихой, сытой, торжествующей ухмылкой.

Света в тот вечер поняла окончательно: правда здесь ничего не стоит. Её правда — ничего не стоит. И перестала защищаться. Перестала объяснять. Научилась исчезать — входила не скрипнув, ела не звякнув вилкой, делала уроки в углу, занимая как можно меньше места в пространстве и в воздухе. Выучила расписание Серёжиных секций, чтобы знать когда дома безопасно. Задерживалась в школе, в библиотеке, на лестнице — где угодно, лишь бы не дома.

Вот так в девять, в десять, в одиннадцать лет в ней окончательно вылепилась та, кем она будет долго: удобная. Незаметная. Не претендующая. Готовая исчезнуть, чтобы не мешать. Серёжа и Костик, не зная того, доделали то, что начала мать у окна: научили Свету, что само её присутствие в мире — это уже немного виноватость.

* * *

Был один случай, который она не забудет.

Ей было одиннадцать. Зима, тёмный декабрьский вечер, рано стемнело. Отец в ночную смену, Нина ушла к сестре. Дома только они трое.

У Светы была коробка. Обувная картонная, перевязанная резинкой — единственное её тайное, неприкосновенное. Там лежали её сокровища, весь её маленький мир: пёрышко сойки, найденное в парке весной, — рыжее, с синей полоской, невозможно красивое; гладкий речной камешек, который она нашла у ручья и носила в кармане так долго, что он стал тёплым и казался живым; вырезанные из старого «Огонька» картинки — тёплое море с пальмами, синее-синее, с парусом вдали; засушенный цветок колокольчика из гербария, который они когда-то собирали вместе с мамой — мама объясняла как засушивать, клала цветок между страниц книги и сверху клала другую, потяжелее, — и сам этот цветок был уже почти не цветком, а только памятью о том дне. И главное — пуговица. Перламутровая, с четырьмя дырочками, чуть больше ногтя. От маминого пальто — оторвалась и закатилась под шкаф, Света нашла случайно, когда убирала, — и спрятала как святыню. Мамина пуговица. Кусочек маминого пальто. Осязаемое доказательство, что мама была.

Серёжа нашёл коробку.

Света услышала его смех из своей комнаты — нехороший смех, предвкушающий. Выбежала.

Он сидел на полу в большой комнате. Коробка раскрыта, он перебирал её содержимое грязными пальцами — неторопливо, со вкусом, как перебирает добычу тот, кто знает, что некому помешать.

— Гляди, Костян, — говорил он, — что наш подкидыш хранит. Пёрышки. Камушки. — Поднял засушенный цветок, повертел перед глазами. — А это что за веник?

— Положи, — сказала Света.

Тихо. Но твёрдо — первый раз за долгое время, потому что есть вещи, ради которых даже тень перестаёт быть тенью, даже удобная молчаливая девочка перестаёт быть удобной и молчаливой.

— Серёжа. Положи это. Это моё.

— Твоё? — Он поднял узкие глаза — тёмные, внимательные. В них зажётся весёлый, злой, заинтересованный огонёк. Нашёл что-то важное для неё — значит, есть чем играть. — А что мне будет? — Поднёс цветок к пальцам, сжал слегка. — Проси. На колени встань — может, подумаю.

И Света встала на колени. На холодный линолеум большой комнаты, прямо перед ним. Без колебаний, без слёз, без криков — просто встала. Потому что это была мамина пуговица.

Потому что это был тот засушенный колокольчик. Потому что это было последнее, что у неё было от того мира, который был до.

— Пожалуйста, — сказала она. Ровно. — Это всё, что у меня есть от мамы. Отдай. Пожалуйста.

Что-то мелькнуло в Серёжином лице — какая-то заминка, почти человеческая, секундная. Он посмотрел на неё — на коленях, с прямой спиной, с сухими глазами, — и в ту секунду Света до последнего верила: отдаст.

Не отдал.

Он разозлился — на себя ли за ту секунду слабости, на неё ли за то, что заставила его её почувствовать. Разозлился и разломил цветок пополам — резко, двумя пальцами. Смял картинку с морем — раз, два, скомкал. Сгрёб всё в кулак — пёрышко, камешек, пуговицу, обрывки картинок. Подошёл к форточке. Открыл — ударил в лицо холодный декабрьский воздух, — и вышвырнул горсть её сокровищ наружу, в чёрный морозный двор, с пятого этажа, в снег.

— Иди ищи. — И захлопнул форточку.

Света не закричала. Не заплакала при них. Это было важно — не дать им видеть. Молча встала с колен. Молча пошла в прихожую. Одедась — пальто, шапка, валенки, варежки. Спустилась вниз.

Вышла во двор.

Под тем окном, при единственном дворовом фонаре, который давал жёлтый неровный свет, она встала на четвереньки и начала рыть снег руками. Варежки сняла — они мешали, в них ничего не чувствуешь. Снег был глубокий — по локоть, рыхлый сверху и слежавшийся внизу, и руки сразу начали красными от холода и болели, и снег набивался под рукава, и она не думала об этом — она думала только о пуговице.

Искала долго. Нашла камешек — маленький, мокрый, тёплым в ладони не согрелся больше. Нашла пёрышко — размокшее, слипшееся, рыжее и синее смешались в грязное. Картинки с морем — намокли, расползлись в снегу, не поднять.

Пуговицы не нашла.

Она рылась в снегу голыми руками, уже не чувствуя пальцев, и не могла остановиться — потому что это была мамина пуговица. Перламутровая. С четырьмя дырочками. Последняя. И если она не найдёт её — это будет значить, что последний кусочек мамы тоже потерян.

Пуговица ушла в сугроб навсегда.

Света стояла на коленях в снегу под чёрным окном и смотрела вверх — на тёплые жёлтые окна чужих квартир. Там ужинали. Там смеялись над чем-то по телевизору. Там жили. И ей впервые за все её тихие, молчаливые, удобные годы захотелось не исчезнуть — а наоборот. Закричать в полный голос. Так, чтобы кто-нибудь выглянул, увидел её здесь, в снегу, и спросил: девочка, что с тобой, иди сюда, в тепло.

Но она не закричала.

Поднялась. Стряхнула снег. Отряхнула руки — уже не чувствовавшие ничего, красные до локтей. Спрятала камешек и то, что осталось от пёрышка, в карман. Пошла домой. Потому что больше идти было некуда.

Отцу не сказала. Никому не сказала. На вопрос, где красные от мороза руки, ответила: упала.

Она всегда отвечала — упала.

* * *

Спасение нашлось в полуподвале соседнего дома.

Районная библиотека — две тесные комнатки, заставленные стеллажами до потолка, пахнущие старой бумагой, пылью и клеем — тем особым запахом, который Света назвала для себя «запахом покоя». Здесь было тихо. Здесь жарили батареи — почти горячие, под ними

можно было согреть руки. Здесь Серёжа не появлялся — что ему тут делать. Света приходила к самому открытию и сидела до закрытия.

И здесь была Вера Павловна.

Старенькая, сухонькая, в круглых очках на цепочке, с пучком совсем седых волос, с руками, постоянно пахнувшими книгами. Она увидела Свету — по-настоящему увидела, не как тихую отличницу, не как удобного ребёнка — а как человека. Заметила: эта девочка приходит каждый день к открытию, садится в один и тот же угол у батареи, читает всё подряд, уходит только когда выгоняют. Заметила: вздрагивает когда хлопает дверь. Прячет лицо в книгу когда кто-то незнакомый заходит и смотрит в её сторону. Платье немного великовато — «на вырост». Завтрак — если и есть — съедает тайком, отвернувшись к окну.

Вера Павловна ничего не спрашивала. Она понимала: таких детей расспросами только спугнёшь. Просто иногда оставляла на столе, как бы между прочим, печенье в блюдечке или бутерброд, завёрнутый в промасленную бумагу: «Вот, Светочка, осталось от чая, не выбрасывать же». И тут же отворачивалась — чтобы Света ела без свидетелей, без унижения просьбы. Пускала в закрытый читальный зал, где было совсем тихо. В холодные вечера придерживала: «Посиди ещё, Светочка, на улице метель, куда ты пойдёшь, посиди в тепле».

И давала книги.

Боже, какие книги. Вера Павловна поняла раньше самой Светы, что девочке нужен побег — и единственный доступный побег для неё пока что лежит на полках. И подбирала: про дальние страны, про путешествия, про моря и острова. «Дети капитана Гранта». «Таинственный остров». Грин — «Алые паруса», «Бегущая по волнам». Паустовский — «Золотая роза». И Света читала про тёплые южные моря, про белые города на берегу, про солёный ветер и горизонт, — и узнавала своё. То самое «тёплое море» с маминой фотографии вдруг обрело плоть, цвет, запах. Становилось не раной — мечтой.

Однажды Вера Павловна, глядя как Света в третий раз перечитывает одну и ту же главу про море, сказала — тихо, как бы про себя:

— А ты знаешь, Светочка, что туда можно доехать? К морю. Не в книжке — взаправду. Сядешь на поезд — и едешь. Вырастешь, выучишься — и поедешь. Море никуда не денется. Оно тебя ждёт.

Света подняла на неё глаза.

— Меня? — переспросила она, и в голосе было столько недоверия, что Вера Павловна взяла её за руку.

— Тебя. Конечно — тебя. Море всех ждёт, кто к нему идёт. Главное — идти.

«Море тебя ждёт. Главное — идти». Эти слова Света унесёт в себе глубже всех Серёжиных слов, глубже любого осколка.

Вера Павловна умерла, когда Свете было шестнадцать. Тихо, зимой, от сердца — не болела долго, просто однажды не пришла открывать библиотеку, и всё. Света пришла на похороны одна, в старом пальто. Среди коллег, чужих людей, молчала. А когда все подходили к гробу, она положила туда — не цветок, цветов не было денег — маленькую морскую ракушку. Ту, что выменяла когда-то у одноклассницы за карандаш и хранила в портфеле рядом с маминной фотографией, как обещание.

Старуха поняла бы.

* * *

Был один день — один за все эти годы — и Света будет хранить его, как хранят единственную драгоценность.

Ей было тринадцать. Воскресенье, поздняя осень. Нина с Серёжей и Костиком уехала к сестре с утра на весь день. Отец, у которого выпал редкий выходной, тоже остался дома. И они вдруг оказались вдвоём — как когда-то, как в те три года.

Оба сначала не знали, что с этим делать. Отвыкли. Ходили по квартире, избегая, косились на дверь. А потом отец вдруг сказал — неловко, немного смущённо, как говорят о чём-то необязательном, которое всё же хочется:

— Слушай, Светик. А давай прогуляемся? День-то вон — смотри.

День был серый и промозглый, типичный ноябрь, ничего особенного. Но они оделись и пошли. Просто пошли — без цели, без плана. Шуриша палой листвой. Отец купил ей в киоске мороженое — пломбир в вафельном стаканчике, в ноябре, на холоде. Это было совершенно неправильно, совершенно нелогично, совершенно по-детски. Оттого — особенно прекрасно.

Они ели мороженое у пруда, на скамейке, в холодном ветру, и у Светы стыли зубы и руки, и она была абсолютно, ненасытно счастлива.

А потом, у воды, отец вдруг заговорил. Он, всегда такой молчаливый, начал рассказывать — про молодость, про то, как познакомился с мамой. Мать в доме не называли — была вычеркнута, замолчана. А тут отец говорил. Тихо. Без злости.

— Она с юга была, мать-то твоя. От моря. Её сюда по комсомольской путёвке занесло, да тут и осталась. Тосковала всё. По теплу тосковала, по морю своему. Не нашего она была холода, понимаешь? Я видел, да думал — стерпится, слюбится. — Долгая пауза. Голуби клевали у его ног, и он бросал им крошки хлеба, которые вытащил из кармана. — Не стерпелось.

И Света слушала — и впервые за все годы мать перестала быть только предательницей в чёрной машине. Стала чем-то большим и сложнее — молодой женщиной, которую занесло в чужой холод и которая погибала без тепла. Это не оправдывало ухода. Но что-то объясняло. И фотография у моря, и надпись «тёплое море, тёплый ты» — встали на свои места.

— Пап, — сказала Света, глядя на воду, на голубей, не глядя на него, — я на неё похожа?

Он долго молчал. Потом повернулся и посмотрел на неё — внимательно, медленно, с какой-то болью и нежностью вперемешку.

— Очень, — сказал наконец. — Лицо — её. — Пауза. — Только ты добрее. Ты остаёшься. — И добавил, совсем тихо, будто не хотел чтобы она слышала: — Иногда мне аж сердце болит — больно ты много терпишь, доча.

«Доча».

За все годы — может, единственный раз. Света едва не заплакала тут же, у пруда, над голубями — но удержалась, чтобы не спугнуть этот хрупкий, невозможный момент.

Они вернулись домой к вечеру — замёрзшие, раскрасневшиеся. Отец нажарил картошки — подгоревшей с одного бока, как в старые времена. Ели со сковородки вдвоём, двумя вилками. Смотрели старый фильм по телевизору. Света сидела рядом с ним на диване, привалившись к его плечу, — и он не отстранился.

А потом приехала Нина. Дом наполнился чужим шумом и запахом. Стеклянная стена встала на место.

Но тот день у Светы остался. Весь. Целиком. Навсегда.

* * *

Фотографию матери она нашла в двенадцать лет — случайно, когда искала нитки для пуговицы.

За стопкой старых простыней — жестяная коробка из-под леденцов «Ромашка». Сердце ёкнуло раньше, чем рука открыла. На самом дне, под отцовским комсомольским билетом и какими-то квитанциями: чёрно-белая фотография с фигурными белыми краями. Молодая женщина на берегу моря. Смеётся — запрокинув голову, придерживая рукой волосы, разлетающиеся от ветра. Лёгкое летнее платье. За спиной — море, ослепительное даже на чёрно-белом, в блёстках солнца на воде, белая полоска прибоя.

Света смотрела — и узнавала своё лицо. Тот же разрез глаз. Та же ямочка на щеке. Тот же выгиб бровей. Она смотрела в это смеющееся, незнакомое лицо как в зеркало, показывающее что-то, чего ещё нет — или что было когда-то, до.

Перевернула фотографию.

На обороте — размашистый мужской почерк, непривычный наклон букв: «Тёплое море, тёплый ты».

И всё. Больше ничего — ни даты, ни места, ни имени.

Света долго сидела на полу перед раскрытым шкафом. Пылинки плыли в луче — те самые её пылинки, которые никогда не ловятся. Холодная гулкая пустота внутри. «Тёплое море, тёплый ты». Кому это написано — тому, в чёрной машине? Значит, у мамы была там, в том тёплом море, своя жизнь — отдельная, тёплая, в которую Света не входила. Ради которой уехала. От которой Света отвлекала.

Двенадцатилетняя Света не нашла для этого слов. Но почувствовала всем существом главную мысль брошенного ребёнка: меня оставили не потому что что-то случилось. Меня оставили чтобы быть счастливой. Без меня. Я — то, от чего бегут к тёплому морю.

Назад в коробку она фотографию не положила — Серёжа найдёт, надругается и над этим. Зашила в подкладку старого школьного портфеля. И с тех пор всюду носила мать с собой — у самого сердца. Единственное сокровище, до которого Серёже не добраться.

Запомнила лицо. Запомнила смех, которого никогда не слышала. Запомнила море за спиной.

И запомнила — крепче всего — эти четыре слова на обороте.

Тёплое море, тёплый ты.

* * *

Глава 3. Семнадцать

«Не важно, как медленно ты идёшь, главное — не останавливаться»

— Конфуций

* * *

Последний школьный год Света прожила, считая дни. Как считает дни узник, у которого срок на исходе, — и страшно поверить, что освобождение вправду будет, и каждое утро встаёшь с мыслью: ещё один день минус. Ещё один. Ещё.

Решение принималось не в один момент — оно застывало в ней медленно, год за годом, как застывает в трещине вода, которая замерзает и распирает камень изнутри. Она уедет. Это было несомненно — так же, как несомненно, что её мамыны тапочки больше не стоят у двери и Серёжа найдёт что-нибудь новое, чтобы ударить по больному. Надо уехать. Подальше. В другое место. Где никто не знает, кто она такая и откуда.

Поступит в техникум. В областном центре — три часа на автобусе, достаточно далеко. Бухгалтер.

Над этим словом — «бухгалтер» — она думала долго. Можно было мечтать о другом. Можно было думать о море, о парусах, о дальних странах — так, как она думала об этом в библиотеке Веры Павловны над книжками Грина и Паустовского. Но мечты — это для тех, у кого есть подстраховка. У кого есть к кому вернуться, если не вышло. У Светы не было ни подстраховки, ни возврата, и она это знала ясно, трезво, без иллюзий — так знают то, что выучили не теорией, а собственными рёбрами.

Нужна была надёжность. Кусок хлеба, который никто не отнимет. Профессия, на которую есть спрос всегда и везде, в любом городе, в любые времена. Чтобы не зависеть — никогда больше — от чужой доброй воли. Не есть то, что осталось. Не носить «на вырост». Не ждать, пока выберут.

И она выбрала — головой, не сердцем. Цифры. Дебет, кредит, баланс. В цифрах была та самая надёжность, которой ей так не хватало в людях: цифры не врут, не предадут, не уезжают в чёрной машине. Дважды два всегда четыре. Если всё сошлось — значит, сошлось, и никакая Нина не скажет тебе, что ты неправильно посчитала, потому что баланс либо сходится, либо нет, и тут уж не подкопаешься.

В июле пришла открытка о зачислении.

Она несла её в кармане три дня, прежде чем решилась вынуть. Доставала ночью, когда все спали, — подносила к свету из-под двери и перечитывала снова: «Уважаемая Светлана Петровна, сообщаем, что вы зачислены в Областной финансово-экономический техникум на специальность «Бухгалтерский учёт»...» Два самых прекрасных слова в ней — «вы зачислены». Не «мы рассмотрим», не «подождите», не «возможно». «Зачислены» — значит, дверь есть.

* * *

О том, что уезжает, она сказала за ужином — тихо, буднично, положила открытку перед отцом. Дала прочитать. Подождала.

Нина оторвалась от тарелки. Прочитала открытку. Кивнула. И в её лице мелькнуло то, чего она не стала скрывать — зачем скрывать, это же не злость, это просто логика жизни: облегчение. Тихое, деловитое, почти уважительное. Освобождается комната. Сходится баланс.

— Ну и правильно, — сказала Нина. — Бухгалтерия — дело надёжное. Не пропадёшь.

Вернулась к тарелке. Всё. Десять лет под одной крышей — и «не пропадёшь, дело надёжное».

Света не обиделась. Она давно ничего не ждала от Нины — научилась. Но где-то на самом дне, под всем выученным равнодушием, под всей своей тихостью и удобностью, всё равно тихо

хрустнуло что-то. Последнее. Самое маленькое, что ещё оставалось из надежды — что вдруг скажет: жалко, что уезжаешь. Даже для проформы, даже не веря. Нет. Не сказала. Ну и ладно.

А отец заёрзал на стуле. Помолчал, размешивая чай, долго, не глядя. Потом сказал — тихо, в стол:

— А может... тут ведь тоже техникумы есть. Прямо в городе. Жила бы дома.

И в этом «жила бы дома» было столько всего, что Света несколько секунд просто молчала и смотрела на него. Что он любит её — это там было. Что не хочет отпускать. Что под всем его молчанием и усталостью и Ниной и выбранным покоем всё эти годы жило что-то настоящее, живое — только задавленное, только без голоса.

Ей так захотелось в ту секунду сказать ему всё. Вот всё — про Серёжу, про снег, про пуговицу, про то, что здесь она задыхается, что тут она всегда будет подкидышем, что ей нужно уехать, чтобы выжить, чтобы стать кем-то, чтобы научиться дышать полной грудью. Так захотелось — просто один раз, первый и последний, — сказать ему всё прямо.

Но она посмотрела на его усталое лицо, на то, как он сидит, ссутулившись, и подумала: он и так знает. Всё знает — и про Серёжу, и про снег. Просто ничего не может. И если сейчас сказать — он будет ещё несчастнее. А ему и так.

— Надо, пап. Так лучше будет, — сказала она.

Тихо. Твёрдо. И он — всё понял по глазам, по тому, что она не сказала, — не стал спорить.

* * *

До автобуса пошёл провожать отец.

Утро было серое, туман ещё не поднялся, лежал в низинах вдоль дороги. Они шли молча — Света с фибровым чемоданом, перевязанным бельевой верёвкой для надёжности (одна застёжка давно сломана), отец рядом, ссутулившийся, в старой рабочей куртке, пахнущей заводом даже в выходной. Говорить было нечего — и было всё, всё было, но у обоих не было слов для этого «всё», и они оба это знали.

Остановка: серый бетонный столбик, ржавая будка, в которой вместо стёкол пустые дыры, лужа со вчерашнего дождя.

Отец курил одну за другой — нервно, торопливо, не глядя на Свету. Окурок бросал, тут же закуривал следующий.

Автобус показался вдали — маленький, дребезжащий, выполз из-за поворота и медленно полз к остановке.

И вот тут — в последние секунды, когда тянуть уже некуда — отец повернулся к ней.

Бросил недокуренную папиросу. Шагнул. Обнял.

Неловко — он всегда обнимал неловко, не умел, большие руки не слушались. Но крепко. Так крепко, что у Светы перехватило дыхание, и она почувствовала, как у него под курткой дрожат плечи. Большой, тяжёлый, сильный её папа, который гнул на заводе железо и никогда не плакал при ней — дрожал.

— Ты прости меня, Светик, — сказал он. Хрипло. В её волосы, не поднимая головы. — Слышишь? Прости. Я знаю, что виноват. Знаю — что надо было по-другому, что надо было защищать тебя, а я... я покой выбрал, понимаешь? Тебя на покой выменял. Самое дорогое — на то, чтобы тихо было. Дурак. — Голос у него сорвался, и он замолчал на секунду, и Света почувствовала, как он справляется с этим, как давит, как не даёт. — Я тебя люблю. Ты это слышишь? Люблю тебя — больше всех на свете люблю. Только говорить не умел. Никогда не умел.

Это были самые важные слова, которые он сказал ей за всю жизнь.

Весь её недолюбленный, мёрзлый, молчаливый детский мир — он сказал их все здесь, на этой серой остановке, в последние секунды, когда уже шипел тормозами подходящий автобус.

И Света заплакала.

Не тихо — навзрыд, по-настоящему, в первый раз за многие годы — уткнулась в его жёсткую промасленную куртку и рыдала, выпуская всё: и снег во дворе с пятого этажа, и пуго-

вицу в сугробе, и «подкидыша», и «безматерняю», и пустую вешалку, и тапочки у двери, и всё то, что она носила в себе молча, тихо, удобно — годами.

Отец гладил её по голове большой шершавой ладонью — неловко, как гладят те, кто не умеет — и шептал: «ну, ну, доча, ну».

— Доча, — сказал он наконец, отстраняя её, поднимая её лицо, торопливо — автобус уже открыл двери, водитель смотрел в зеркало. — Ты слушай меня. Ты иди. Не оглядывайся. Жизнь у тебя своя будет — я знаю, я чувствую. Хорошая жизнь будет. Только вот что: себя не забывай. Ты же всё для других, всё для других — это я вижу, это в тебя с детства. Хоть немножко для себя тоже. Обещай.

— Обещаю, пап.

— Иди. Уедет.

* * *

Она вошла в автобус. Нашла место у окна — всю жизнь у окна.

Автобус тронулся. Поплыло назад: ржавая будка, лужа, отец. Он стоял на остановке и махал — высоко, размашисто, так, чтобы она видела как можно дольше. Света прижималась к стеклу и махала в ответ, и слёзы ещё текли, и от слёз отец расплывался, двоился, — а автобус набирал ход, и отец становился всё меньше, меньше. Потом опустил руку. Постоял ещё немного, маленький, серый, в своей куртке. Потом повернулся и пошёл обратно — домой, к Нине, к заводу, к своей жизни. Пропал за поворотом.

И тут Свету пронзило — внезапно, остро.

Это было то же самое, что в шесть лет. Тот же кадр — только перевёрнутый. Тогда она, маленькая, стояла у окна на пятом этаже и смотрела, как мать садится в чёрную машину и уезжает, делаясь всё меньше, пока не пропала за углом. Теперь — она сама уезжала, и тот, кого она любила, оставался у дороги и делался всё меньше.

Но было одно огромное, всё меняющее различие.

Мать уезжала от неё. Бросая. К тёплому морю, к другой жизни, в которой ребёнок был обузой. А Света уезжала — к. К учёбе, к работе, к себе. Она не бросала отца — она увозила его в сердце: его «прости» и «люблю больше всех», и «доча», и ноябрьский день у пруда с пломбиром. Она не закрывала дверь чтобы не вернуться. Она просто уходила жить.

За окном побежали незнакомые поля — чужие деревни, чужие водокачки, чужие рощи. Мир, в котором её никто не знал. Мир, в котором не было её прошлого.

И с каждым километром в ней поднималось что-то — странное, пугающее, головокружительное. Что-то, похожее на воздух, которого долго не хватало.

Там меня никто не знает, — думала она, глядя на бегущие поля. — Никто не звал подкидышем. Никто не видел, как я ем отвернувшись. Никто не знает про снег и коробку. Там я могу быть кем захочу. Могу смеяться громко. Могу не извиняться за то, что существую. Могу — просто быть.

Это была свобода. Она пахла пылью автобусного сиденья, бензином, туманом за окном. Была огромной и пустой и страшной.

И единственно возможной.

* * *

Общежитие встретило её запахом, который она запомнит навсегда — хлорка, жареный лук, дешёвые духи, что-то ещё неуловимое, не поддающееся словам: запах множества молодых жизней, тесно прижавшихся под одной крышей.

Комендантша — грузная, с вечной связкой ключей на поясе, взглядом человека, который видел всё и ничем уже не удивляется — оглядела Свету, отметила в журнале, выдала серое казённое бельё.

— Комната двенадцать. Вон твоя койка — у окна. Соседки на занятиях, к вечеру познакомишься. Туалет в конце коридора, душ по графику, парней после девяти не водить.

Света осталась одна.

Комната была маленькой, тесной — четыре койки, тумбочки, один шкаф на всех, стол у окна. Серое небо в окне. Чужие вещи на чужих тумбочках — засохший цветок, учебники в стопке, фотография незнакомых людей в рамке.

Она села на свою койку. Пружины скрипнули — по-живому, по-своему. Огляделась. И вдруг засмеялась.

Одна, в пустой комнате, вслух — не сдерживаясь, запрокинув голову. Потому что до неё дошло — всем телом, до кончиков пальцев, до каждого волоска — что эта скрипящая койка её. Эта тумбочка её. Этот угол, этот вид на серое небо — её. Маленький, казённый, бедный — но её собственный. Первый в жизни кусок пространства, в котором никто не войдёт и не скажет «подкидыш», не вышвырнет её сокровища в снег, не посмотрит как на мебель в придачу к квартире.

Она открыла чемодан. Под одеждой, завёрнутые в платок: фотография матери у моря — выпоротая из подкладки старого портфеля, теперь переложённая в новую сумку. Ракушка. Камешек — тот самый, из снега. Поставила их на тумбочку — на своё место, на собственное.

Потом подошла к окну. Открыла. Хлынул шум чужого, незнакомого, своего города — трамваи, голоса, далёкая музыка из чьего-то открытого окна. Она высунулась и подставила лицо ветру.

— Я иду, Вера Павловна, — сказала она тихо. — Слышите? Я иду.

* * *

Соседки вернулись к вечеру — все трое сразу, шумной, тёплой, пахнувшей осенней улицей стайкой.

Людмила — крупная, с широкими плечами, деревенская, с той особой рукастой уверенностью людей, которые с детства умеют всё сами. Немедленно взяла над всеми командование. Танька — маленькая, юркая, с быстрыми глазами и ртом, который не закрывался ни на секунду. Тихая Оксана — в очках, с книгой подмышкой, молчаливая, внимательная — своя порода, Света узнала её сразу.

— О, новенькая! — обрадовалась Танька с той немедленной, незащищённой радостью, которая бывает у людей, которым легко с людьми. — Ты откуда? Давно приехала? Чего такая зажатая, мы не кусаемся. Людка вон только с виду страшная — добрейшей души человек.

— Сама иди, — сказала Людмила, не обидевшись. — Голодная? Есть картошка варёная.

И Свету — просто так, потому что койка её тут, потому что так принято, потому что они так устроены — приняли. Людмила всунула ей кружку чаю: «на, с дороги-то». Оксана молча подвинула половину своей шоколадки — просто положила на тумбочку и не стала ничего объяснять. Танька выпытала, откуда и зачем и кто дома остался, — и не потому что ей нужно знать, а потому что ей интересны люди.

Света сидела на скрипящей койке, держала горячую кружку — обыкновенный чай, дешёвый, чуть горьковатый — и не могла понять, что с ней. Потом поняла. Она была внутри. Не за стеклом снаружи, не в углу с занятым как можно меньше воздухом — внутри. В тепле. Среди своих. Не потому что заработала. Не потому что была удобной. Просто потому что оказалась здесь.

Прошло несколько месяцев. Света работала страшно — в пять утра полы в соседнем магазине, до восьми, потом учёба, потом вечером смена в фитнес-клубе, который открылся рядом и взял её убирать. Пять часов сна в лучшем случае. Зимой надорвалась.

Свалилась с воспалением лёгких — сначала думала, что простуда, терпела два дня. Потому что нельзя болеть: пропустишь смену, не заплатят, не хватит на еду. Это был рефлекс — не просить, не требовать помощи, справляться самой, потому что всегда справлялась самой и рассчитывать было не на кого.

Девчонки вернулись с пар — и нашли её в бреду.

Людмила действовала немедленно. Послала Таньку за врачом. Сама принялась обтирать Свету водкой, которую достала из заначки под кроватью. Поила тёплым молоком с мёдом — откуда взялся мёд, Света узнает потом: Людмила купила на свои. Меняла мокрые от пота простыни. Танька, у которой вечно не было денег, продала свои единственные приличные серёжки — золотые, которые мать подарила на совершеннолетие — и купила антибиотики. Света узнает это только через несколько лет, случайно. Тихая Оксана сидела ночами у её койки, клала прохладную ладонь на горячий лоб — раз за разом, снова, снова — и читала вслух негромко, чтобы не так страшно было метаться в жару одной.

Сквозь горячечный туман Света видела над собой их три лица — встревоженных, своих. И что-то в ней не могло с этим совладать.

Они обо мне заботятся? Просто так? Без причины? Я же не родная им. Я же чужая. Я же та, про которую всегда было понятно: с большой возни меньше.

В какую-то ночь, выныривая из бреда — жар ещё не спал, простыня мокрая, в горле горело — Света заплакала. Слабо, беспомощно, по-детски.

Оксана испугалась:

— Светка, что? Где болит? Хуже стало?

— Нет, — с трудом выговорила Света сквозь жар. — Хорошо. Так хорошо... Вы сидите. Вы из-за меня. Я думала — нельзя так про меня. Что это бывает. Что кто-то вот так — сидит. Ночью. Из-за меня.

Оксана помолчала. Потом сжала её горячую руку — крепко, не отпуская.

— Дурочка ты, Светка. Тебя любить — легче лёгкого. Ты хорошая. Спи. Мы тут. Никуда не денемся.

Мы тут. Никуда не денемся.

Восемь слов. Такие простые, такие обычные — то, что нормальный ребёнок слышит тысячу раз и не замечает. Для Светы они в ту ночь сделали больше, чем антибиотики Таньки и Людмилины обтирания. Потому что в ней тронулась с места та холодная тяжёлая глыба, которая лежала с шести лет — с тапочек у двери, с пустой вешалки, с «тёплого моря, тёплого тебя». Впервые пошатнулась правда, в которую она верила так давно, что и не заметила, когда поверила: что её нельзя любить. Что любовь проходит мимо неё — как свет мимо непрозрачного.

Может быть — только может быть — дело было не в ней?

* * *

На Новый год скинулись кто чем.

Людмила привезла из деревни сала и квашеной капусты. Танька раздобыла где-то бутылку шампанского — как раздобыла, не сказала, лучше не знать. Оксана принесла мандарины — аромат от которых, смешавшись с запахом сала и дешёвых духов, стал запахом первого студенческого Нового года, который Света будет помнить всю жизнь. Сама Света напекла на общей плитке блинов и пирожков — умела, умела ещё с детства, когда помогала отцу, когда они вдвоём пытались воспроизвести что-то похожее на домашнюю еду. Нарядили чахлую ветку, выпрошенную на рынке, подвесили самодельные игрушки из фольги и ваты. Включили музыку — кто-то принёс магнитофон.

И сели — четверо, в тесной комнатке, бедные, нарядные, счастливые.

И вот — в самый разгар праздника, когда уже выпили первый бокал и Танька что-то рассказывала смешное и все смеялись — Свету потянуло к окну. Старая привычка. Она встала, подошла. Прижалась лбом к стеклу — как всю жизнь, как с шести лет, как с той самой первой ночи у окна.

За окном валил крупный новогодний снег, медленный и торжественный. Фонарь стоял в жёлтом нимбе. В окнах напротив мигали гирлянды — красные, синие, зелёные. Чужие счастливые окна. Чужие праздники. Тепло снаружи и холод изнутри.

Она приготовилась к привычной боли. К тому, что вот она — снова снаружи. Снова смотрит на чужое тепло сквозь стекло.

Боли не было.

Она стояла и ждала боли — и не было её. И тогда Света поняла почему.

Тепло было у неё за спиной.

Не за стеклом. За спиной. В этой самой комнате. Там, в четырёх метрах от неё, смеялись Людмила, Танька и Оксана, там пахло блинами и мандаринами и шампанским и фольгой самодельных игрушек, там был её стол, её праздник, её — как ни странно это было произносить — её люди.

Она стояла у окна — и была не снаружи.

Она была внутри.

Света заплакала — стоя спиной к теплу, глядя в метель, беззвучно, улыбаясь сквозь слёзы. Потому что то, во что она не верила в десять, в двенадцать, в пятнадцать лет — пока стояла у ночного окна и смотрела на чужое тёплое — вот оно. Случилось. Её пустили. Она — внутри.

— Светка! — крикнула Танька. — Ты чего там у окна киснешь? Бьют куранты! Загадывай желание!

Света обернулась.

От окна — к теплу. Впервые в жизни — от окна к теплу. Вытерла слёзы, засмеялась — и пошла к своим.

* * *

А ещё в те годы у неё появились красные туфли.

Это была чистая глупость — и оттого самая важная покупка всей её юности.

На первую настоящую полочку из фитнес-клуба, когда разумный человек отложил бы половину, доел бы досыта, купил бы что-нибудь тёплое и практичное, — Света пошла и купила туфли. Нелепые, на каблуке, ярко-алые, совершенно непрактичные, ни к чему в её гардеробе не подходящие. В маленьком комиссионном магазине, который она проходила каждый день по дороге на смену. Стояли в витрине и светились — красные, как флаг, как пожар, как что-то невозможное в её серо-синей жизни.

Она увидела их — и пропала. Потому что всю свою жизнь, с самого детства, она носила «на вырост», немаркое, тёмное, практичное. То, что досталось. То, что подошло. То, что не жалко. А эти туфли были — красивые. Просто красивые, ни для чего, для себя, для радости без причины. И она их захотела — чисто, ясно, без объяснений.

Принесла в общагу, достала из мешка.

Девчонки захохали. Танька немедленно схватила одну, примерила, встала, прошлась: «Светка, да ты с ума сошла, да это же шик, это же вообще!». Людмила покачала головой: «куда в них, грязи по колено». Оксана молча улыбнулась и кивнула — одобрила.

Света надела. Встала. Прошла по комнате — на нелепых каблуках, неустойчиво, спотыкаясь о Танькин рюкзак, хохоча.

И в этих алых туфлях, в тесной общажной комнате, нищая и голодная и усталая, с кругами под глазами от недосыпа, — она впервые в жизни почувствовала себя не тенью, не подкидышем, не мебелью в придачу к квартире — а женщиной. Молодой, красивой, имеющей право. На красное. На непрактичное. На радость без причины. На себя.

Вот что такое свобода — не отсутствие Серёжи рядом. А это: красные туфли. Можно. Потому что хочу.

* * *

Техникум Света окончила с отличием. Красный диплом.

Иначе и быть не могло — она делала всё безупречно, к ней нельзя было придраться, это тоже было из детства, из «цифры не подкопаешься». Но теперь эта безупречность была другой

— не щитом, не защитой, не «чтобы не за что было не любить». Теперь это была её, заработанная, заслуженная, настоящая гордость. Красная корочка диплома — первая в жизни вещь, целиком и полностью добытая ею самой. Не подаренная. Не доставшаяся. Не «на вырост». Заработанная — потом и недосыпом, тряпкой в пять утра, смыслом в клубе, упрямством, характером. Это у неё уже не отнять. Никогда.

На выпускной приехал отец. Один — Нина не приехала, Нина не приехала бы. А отец приехал.

В своём единственном приличном костюме — тесном, старомодном, тщательно отглаженном. С неловко причёсанными набок волосами. Сидел в актовом зале среди чужих нарядных родителей — неловкий, заводской, явно не на своём месте. И когда Свету вызвали на сцену — красный диплом, аплодисменты зала, — отец вскочил с места первым. Хлопал — громче всех, неловко, размашисто, не в такт. По его обветренному лицу текли слёзы. Он не вытирал их. Не стыдился. Стоял и хлопал.

Потом они стояли вдвоём под цветущими яблонями во дворе техникума. Отец держал её красный диплом в своих больших шершавых руках — держал бережно, как держат что-то святое, что можно помнить.

— С отличием. — Он всё качал головой, будто не мог поверить. — Доча. Сама. Одна, без никого. Из ничего. За уши себя вытащила. — Поднял на неё мокрые глаза. — Ты знаешь, я сидел в зале среди этих всех — у которых и деньги были, и семьи полные, и репетиторы небось, всё было — а на сцену вызывают мою. Которой ничего не было, кроме характера. — Голос у него сломался. — Горжусь тобой. Очень. Больше, чем могу сказать.

Осыпались яблоневого лепестки — белые, лёгкие. Девчонки кричали Свете откуда-то из-за угла. Солнце светило.

Она держала отца за руку — большую, заводскую, с ввевшимся маслом в кожу — и была счастлива. Тем тихим, заработанным, настоящим счастьем, которое бывает только на вершинах, куда влез сам. Без посторонней помощи. Без подстраховки. Сам.

Впереди была вся жизнь.

Она этого не знала. Знала одно — стоя под яблонями, с красным дипломом, держа отца за руку:

Я иду.

* * *

Глава 4. Игорь

«Незрелая любовь говорит: люблю, потому что нуждаюсь. Зрелая любовь говорит: нуждаюсь, потому что люблю»

— Эрих Фромм

* * *

К двадцати годам Света расцвела.

Это было то особое цветение — позднее, вдруг, как расцветает то, что долго держали в холоде и наконец вынесли на свет. Сильное, ладное тело, выкованное в зале. Прямая спина — не школьная вытянутость, а та, что вырастает из достоинства. Ясные серые глаза с той самой ямочкой, что досталась от матери. Добрая, чуть недоверчивая улыбка — уже не та улыбка-щит из детства, а другая, оттаявшая. Красный диплом. Своя профессия. Своя комната в общежитии — пусть казённая, пусть на четверых, но своя.

Со стороны — состоявшаяся, сильная, самостоятельная молодая женщина. У которой всё в руках.

А внутри — всё та же шестилетняя девочка у окна. С занозой в сердце. С колодцем, на дне которого темно. С главной правдой своей жизни, в которую она верила всем существом: любовь — это то, что встаёт, надевает плащ и уходит. Что тебя нельзя любить долго. Что обязательно бросят.

И вот это противоречие — сильная снаружи, изголодавшаяся внутри — сделало то, что сделало. Потому что сердце, молчавшее всё детство, к двадцати годам проснулось и потребовало своего. Громко. Жадно. Безоглядно. Тело, которое Света вернула себе в зале, теперь хотело не только силы — оно хотело тепла, тяжести, мужских рук. Истосковавшееся за двадцать лет холода, оно было как сухая, растрескавшаяся земля, готовая впитать первый же дождь — без разбора, любой, лишь бы пролился.

А тот, кто изголодался, не выбирает.

Он вошёл в контору «Запчасть-сервиса» в обычный вторник, вместе с запахом улицы и дорогого одеколona.

Поставщик. Привозил фары, прокладки, накладные. И с порога заполнил собой всю тесную комнату — так заполняет её человек, привыкший, что на него смотрят. Высокий, широкоплечий, с небрежно падающей на лоб тёмной прядью, с улыбкой, от которой у женщин подгибались колени. Он знал об этой улыбке. Пользовался ею — расчётливо, привычно, как пользуются деньгами, которые сами идут в руки. Улыбался кассиршам, секретаршам, продавщицам — и они таяли, и он принимал это как должное, как погоду.

Облокотился о Светин стол — по-хозяйски, без спроса, заглядывая в разложенные ведомости.

— А кто это у вас тут считает? Такая серьёзная.

Света подняла на него глаза.

И — пропала.

Это было как болезнь. Как корь, которой не переболел вовремя в детстве и оттого болей во взрослости тяжело, со всеми осложнениями, едва не насмерть. Один взгляд этих смеющихся, уверенных, ласкающих глаз — и всё. Двадцать лет холода, двадцать лет голода по теплу, двадцать лет «меня нельзя любить» — всё это поднялось в ней разом и рванулось навстречу первому, кто посмотрел на неё вот так: как на самое желанное, самое прекрасное в этой комнате.

— Считаю, — сказала Света, и голос предательски дрогнул. — Это моя работа.

— И хорошо считаешь? — Он наклонился ближе, и она почувствовала запах его одеколona — дорогого, тяжёлого, кружащего голову.

— Без ошибок, — сказала Света.

— Без ошибок, — повторил он с той самой улыбкой, разглядывая её с откровенным, ленивым удовольствием. — А я вот, кажется, ошибся. Думал, заехал за накладными. А заехал, похоже, за тобой. — Засмеялся, довольный и собой, и фразой, и её вспыхнувшими щеками. — Как зовут-то, серьёзная?

— Светлана.

— Буду знакомы. Я — Игорь.

Он ушёл. На пороге обернулся — тот, кто привык, что его провожают взглядом. Его провожали. Света сидела над ведомостями, не видя цифр, и сердце колотилось так, как не колотилось никогда, и заноза в сердце на время притихла, придавленная этим горячим, головокружительным, незнакомым.

— Ну всё, — сказала проходившая мимо старая бухгалтерша, понимаясь глянув на Светино лицо. — Пропала девка. — Вздохнула. — Ты с этим красавцем поосторожнее, Светик. Таких видать насквозь. Мёд на языке, а сам — ветер.

Света не услышала. Влюблённые не слышат.

Он стал заезжать. Будто бы за накладными — а на самом деле за ней.

Приносил шоколадку, цветок, говорил комплименты, от которых горели уши. Потом позвал в кино. Потом в ресторан — настоящий, со скатертями и серебряными вилками, которых было так много и они были так разные, что Света боялась запутаться. Сидела напряжённая, счастливая, боясь показаться деревенщиной. Игорь учил, какой вилкой что едят, смеялся по-доброму — снисходительно, но без жестокости. И от его уверенной лёгкости Свете было одновременно стыдно и сладко: рядом с ним она чувствовала себя маленькой, оберегаемой, ведомой. Тем, чем не была никогда — всю жизнь тащила всё сама.

Он целовал её в подъезде общежития, прижав к холодной стене — жадно, умело — и у Светы кружилась голова, и подгибались колени, и она думала, тая в его руках: вот оно. Вот то, чего у меня никогда не было. Меня хотят. Меня держат. На меня смотрят как на сокровище. Значит — можно. Значит, меня можно любить.

Девчонки в общаге переживали.

Людмила хмурилась:

— Светка, ты влюбилась — это видно. Но ты приглядишься. Он какой-то гладкий слишком. Себя любит больше всех на свете, а бабу — пока новенькая.

— Ты просто его не знаешь, — отмахивалась Света. — Он добрый. Он внимательный. Не такой.

— Все они «не такие», — вздыхала Людмила. — Пока не такие.

Но Света не слышала. Изголодавшийся не слышит предостережений — он чует тепло и идёт на него, как обмороженный идёт на огонь, не разбирая: согреет этот огонь или сожжёт. Двадцать лет она ждала, чтобы кто-нибудь вот так взял, удержал, посмотрел как на желанную. И вот — взяли, держат, смотрят. Разве она могла усомниться?

Первая близость случилась через два месяца — у него на съёмной квартире.

Света до того ни с кем не была. Берегла — не по расчёту, по инстинкту: отдать себя означало открыться, показать дорогое. А показывать дорогое она с детства боялась — помнила, как раскрошили в кулаке засушенный цветок и выбросили в снег. И вот теперь решилась. Потому что любила — так ей казалось.

— Ты чего дрожишь? — спросил Игорь, обнимая её, и в голосе была ласковая насмешка человека, для которого в этом нет ничего страшного.

— Я ещё ни разу, — выговорила Света, сгорая от стыда.

Он на секунду удивился — и в глазах его мелькнул охотничий, собственнический интерес. Первая. Это его польстило. Не тронуло — именно польстило, как льстит трофеем.

— Тем более, — сказал он мягко. — Тем более не бойся. Я нежно.

Он был умелым любовником — слишком умелым для двадцатилетней, которая не умела отличить умения от чувства, опыт от любви. И тело её — истосковавшееся, иссохшее за двадцать лет холода — впитывало каждое прикосновение с жадностью, с изумлением, почти со слезами благодарности. Оно, это тело, которое она двадцать лет прятала и стыдилась, вдруг оказалось живым. Чувствующим. Нужным кому-то.

А потом она лежала в его руках, оглушённая, счастливая, и думала главную, роковую мысль своей жизни:

Меня держат. Я не одна. Раз он так со мной — значит, не бросит. Это и есть любовь.

Бедная девочка, выросшая за стеклом. Она перепутала жар тела — за свет души.

Вот в чём была её болезнь — не распушенность, а голод. Любви настоящей — той, что держит просто так, ни за что, что дует на коленку и сидит ночами у постели, — этой любви ей никто никогда не показал. Она не знала её примет, не умела узнать. А вот близость тела давала немедленное, осязаемое доказательство того, чего она жаждала всю жизнь: меня хотят, меня держат, я не одна. И заноза замолкала — ненадолго, но замолкала. И Света принимала это краткое молчание занозы за счастье.

Это было как глушить голод сладким: на минуту сытно — а потом ещё голоднее. Но она не знала этого о себе. Она была счастлива. Впервые в жизни по-настоящему, оглушительно счастлива — и в этом счастье было столько света, что не разглядеть: настоящий это свет или только блеск.

Страшнее всего ей бывало по ночам — в те ночи, когда она просыпалась рядом со спящим Игорем и вдруг холодела от древнего, детского ужаса. Смотрела на спящего мужчину — красивого, чужого, отдельного, со своей закрытой жизнью внутри — и старая правда поднималась со дна колодца и шептала: он уйдёт. Они все уходят. Тебя нельзя любить долго.

И тогда она прижималась к нему. Будила. Искала его руки — и когда он, сонный, отзывался, накрывал её собой, ужас отступал. Близость затыкала дыру. На время. На эту ночь.

Хуже всего ей было среди его друзей.

Шумная, развязная компания — гладкие, уверенные, с деньгами. И яркие девушки при них, бойкие, знающие себе цену. Они говорили на языке, которого Света не знала, — о машинах, деньгах, курортах. И среди них она опять, как в детстве за Нининым праздничным столом, оказывалась снаружи. За стеклом.

Нарядная, напряжённая. Улыбалась той самой улыбкой — вежливой, через стекло. Чувствовала себя самозванкой, которую вот-вот разоблачат.

Девушки оглядывали её холодно, оценивающе. «Это Игоря новая», — говорили друг другу, и в этом «новая» Света слышала приговор: ненадолго. Сменная.

И Игорь среди друзей будто чуть стеснялся её — не грубо, но она чувствовала: он бы предпочёл, чтобы она была поярче, поразвязнее. И она старалась. Натягивала чужую лёгкость, как тесное платье. И мучилась.

А после таких вечеров — паника: он сравнивает, видит, что она хуже, скучнее. Вот-вот уйдёт к бойкой. И тогда снова тянулась к нему. Лгнула, отдавалась пылко, отчаянно — будто телом доказывая: я лучше. Меня не за что бросить. Игорь, разнеженный, обнимал её и говорил, что она самая-самая. И Света затихала — на эту ночь.

Зинаида Петровна, мать Игоря, встретила Свету радушно на словах — и тут же оглядела. Тем взглядом. Оценивающим, прикидывающим. Взглядом из детства.

— Так-так. Светлана, значит. А родители ваши кто? Откуда сами?

— Папа на заводе, — тихо сказала Света. — Мамы нет.

— Умерла?

— Ушла. Когда я маленькая была.

В холёном лице будущей свекрови что-то едва заметно изменилось — не сочувствие. Брезгливая настороженность. «Из такой семьи». Девочка без роду-племени, без матери, без приданого. Не пара.

— Понятно, — сказала Зинаида Петровна тоном, в котором было всё.

И весь вечер потом — ледяная подчёркнутая вежливость. Та, что холоднее злости. Та самая стеклянная стена, которую Света знала наизусть с девяти лет.

Опять. Снова она — недостаточно хорошая. Снова без семьи за спиной, без тыла. Снова — чужая.

Если бы послушала эту рану — поняла бы: входит не в семью, а в холод. Меняет одну стеклянную стену на другую. Бежит от Нининой нелюбви — прямо навстречу такой же. Но Света не слушала своих ран. Научилась заглушать. И шла дальше — потому что слишком хотела, чтобы было тепло.

* * *

И всё-таки нельзя сказать, что Игорь был сплошным холодом. Будь он сплошным холодом — Света, может, и вырвалась бы. Беда была хитрее: иногда, редко, но ровно настолько редко, чтобы держать на крючке, он бывал по-настоящему хорош.

Был один такой вечер. Игорь пришёл — не с гулянки, а просто так, тихий, непривычно домашний. Принёс не дорогой подарок напоказ, а варезки. Тёплые, шерстяные, простые, — потому что заметил: Света мёрзнет, бегаёт в холода без перчаток.

«Заметил». Это крошечное слово — что ей холодно — обрушило на Свету такую волну благодарности, что перехватило горло. За двадцать лет о том, что ей холодно, не позаботился никто.

В тот вечер они никуда не пошли. Сидели на кухне, пили чай. Игорь разоткровенничался — рассказывал про властную мать, про то, как устал быть лучшим, золотым, идеальным. И Света слушала — и впервые видела не лощёного красавца, а живого, усталого человека. Сердце таяло: вот он, настоящий. Вот за этим я и пришла.

Это и есть самая страшная ловушка таких связей. Не сплошной холод — а холод, изредка прорезанный настоящим теплом. Будь он всегда плох, уйти было бы легко. Но он бывал хорош — ровно настолько, чтобы Света всякий раз говорила себе: надо только потерпеть холодное и дождаться тёплого. И терпела. И ждала. И копила те варезки, тот вечер — как доказательства, которые перевешивали всё остальное.

Один тёплый вечер на десять холодных. Изголодавшемуся и крошки — пир.

* * *

Через год он сделал предложение — за тем самым бокальчиком в ресторане, легко, между делом:

— Слушай, Свет, а давай поженимся? Чего тянуть. Ты девка правильная, хозяйственная. С тобой надёжно.

«С тобой надёжно, хозяйственная». Не «я люблю тебя», не «не могу без тебя жить» — «надёжно, хозяйственная». Но Света не услышала, что в этих словах нет любви. Она услышала «давай поженимся» — и у неё зашло сердце от счастья.

Потому что замужество означало: навсегда. Не бросят. Будет своя семья — та, которой никогда не было. Свой дом. Свои дети. Своё тепло, никем не одолженное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.